

Елена Крюкова
Русский Париж

Серия «Самое время!»

Русские в Париже 1920—1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

РУССКИЙ ПАРИЖ

роман



*Памяти Марины Ивановны Цветаевой и ее
семьи;
Ренэ Герра, великому французу и великому
русскому;
всем русским, живущим вдали от Родины —
посвящаю*

Ренэ Герра

РУССКАЯ ФРАНЦИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И СИМВОЛ

Русская послереволюционная эмиграция — уникальное по своим масштабам и культурному значению явление. Феномен культуры русского зарубежья, сложившийся в период между двумя мировыми войнами, не имеет аналогов в истории человечества. Революция оторвала от России творческую интеллигенцию, которая волею судьбы оказалась по другую сторону рубежа.

После Октябрьского переворота и по окончании Гражданской войны русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал де-факто столицей Зарубежной России.

Итак, две великие культуры, русская и французская, волею судеб стали сосуществовать на французской земле. Отсюда сразу возникает целый ряд вопросов об их взаимоотношениях, взаимопонимании, взаимопроникновении, о восприятии и вкладе русской культуры во французскую культуру... Что касается русских культурных деятелей Рассеяния, писатели, поэты, философы и художники поистине совершали подвиг: в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от родной почвы, они всячески стремились сохранить себя, свои традиции, чистоту русского языка, дух и ценности исконно русской культуры, попираемой на родине большевиками. Ведь каждый из них унес с собой Россию, свою Россию, и преданность ей...

Мой покойный друг Роман Борисович Гуль метко озаглавил свою трехтомную апологию эмиграции: «Я унес Россию». Ведь они все — великие известные и великие неизвестные — оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами — тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» — соль земли.

Поэт и критик Юрий Иваск как-то написал: «Эмиграция всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача — творчество, творческие удачи возможны и на чужбине».

Эта трагическая страница русской истории XX века оказалась великой удачей для ее жертв и в конечном итоге для всей русской культуры.

И тому лучшее доказательство — всемирный успех представителей русской элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали, что когда-то ими был сделан трудный, но правильный выбор. Этот опыт и пример русских изгнанников — в высшей степени поучительный урок, предпосланный новым поколениям посткоммунистической России.

Я же сохраняю обо всех этих белых эмигрантах благодарную память.

Русская первая эмиграция уже стала и для французской, и для мировой культуры своеобразным символом стойкости духа, щедрости сердца, возможности сохранить духовные сокровища нации в иной языковой и культурной среде.

Очень важно, что русские писатели, художники сейчас обращаются к теме русской эмиграции во Франции, тем самым подчеркивая связи двух культур, заново открывая исторические имена, события и положения. Так, для меня большой радостью явился роман Елены Крюковой «Русский Париж» — попытка художественно осмыслить все происходившее с русскими во Франции в первой половине двадцатого века.

Елена Крюкова обращается и к истории, и к современности. Ее волнуют контрастные темы: религия, политика, эмиграция.

Автор пытается поднять событие до уровня мифологии, а сиюминутность — до уровня метафоры, символа-знака. Мост между мифом и ярко прописанными картинами реальности, жизни — вот творческое кредо писателя.

Так, на стыке жесткой реальности и высокой поэзии, написан «Русский Париж» — своеобразная торжественная ода белой эмиграции, переходящая временами во взволнованный речитатив, а иной раз — в поток чистой исповедальной лирики.

Это художественный текст, основанный на узнаваемых исторических фактах, на моментах жизни реальных исторических персонажей. Это своеобразная гигантская фреска, фигуры которой живут по своим законам.

Не столь важен сюжет, сколь живая боль и живая радость тех людей и тех далеких лет — а они сполна присутствуют в

книге.

Я желаю этому роману счастливой судьбы.

КАНКАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд «Прага — Париж». Катит через всю Европу: с востока — на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки — запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди — чтобы дети не голодали. Дети, да. А они с Семеном? Они уже могут не есть ничего. Питаться святым духом.

Вагоны трясло на стыках. Стекла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овевают лоб, как табачный дым. Жаль, в купэ нельзя курить.

Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, — по-французски. Анна так и проехала всю Германию — с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-желтыми, как яичный желток, лучами в замерзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.

Дети тихо спали на нижней полке, вдвоем. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Теплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.

Семен не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Она лежал выше всех — на верхней полке: купэ было трехместное, и полки располагались одна над другой. Почему купэ теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И — никаких тюрем. Пусть попробуют за решетку посадить!

Свобода Европы... блеф... пустота... суета.

Поезд шел, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она все время гудела стихами, и днем и ночью. Днем научилась приглушать в себе эту музыку. Днем надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слез не могла вспомнить печи, что топила в Чехии — одну во Вшенорах, другую — в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углем и гарью — вместо духов и пудры. Чудесное амбрэ.

Поезд, помоги... Поезд, стучи в такт...

«...мы в тюрьме. Мы за решеткой века. Кат, царевич, вопленица, вор. Не скотов сочтут, а человеков. По складам читают приговор...»

Длинно, тяжело вздохнул Семен.

Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал, и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит — поклажа тяжелая, залопотал сначала полатышски — Анна глядела непонимающе, — он перешел на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schön, ich habe kein Geld». Семен возмутился: что ты, Аня, у нас же есть деньги! Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевез на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.

Потом — Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семен подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у нее была одна Аля. Ника тогда еще не родился.

Никогда не родиться и никогда не умереть — вот счастье.

«Улецают плесенью похлебки... К светлой казни — балахоны шьют... Затыкают рты, как вина, пробкой... А возжаждут крови — разобьют...»

Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семену буду читать. Кошку заведу — кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Ее уже помады интересуют... туфельки на каблучках...»

Тяжелые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.

Берлин. Мрачные дома. Быковский нашел им тогда квартиру в центре, близ Александерплатц. Дешевую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семен устроился работать дворником — мел и скреб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодарю Бога за еду и ешь!» — зло кричала Анна, и лицо ее покрывалось коревыми, красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», — бросала ложку Аля на стол со звоном.

Они отыскиали в Берлине православную церковь и ходили туда с Алей. Аля видела: рука матери еле сгибается, чтобы перекреститься. Але нравились позолоченные иконы, густой

бас священника. Анна стояла как столб, преодолая себя. Зачем мы сюда ходим, мама, спросила однажды Аля раздраженно, если вам тут нехорошо? «Чтобы не забыть, что мы русские», — холодно ответила Анна. Огромные светло-серые, ледяные глаза дочери вспыхнули. Она нарочно, назло матери встала на колени на грязный пол храма, чтобы запачкать единственное платье.

Поезд, стучи... Поезд, езжай вперед, только вперед.

«Бьют снега в окружая централа. Прогрызают мыши тайный ход. Сколько раз за век я умирала — ни топор, ни пуля... не берет...»

Пуля. Ее водили на расстрел. Жenu белогвардейца. Семен служил тогда в Белой гвардии, в Нижегородском полку. Где они стояли? Где сражались? У Анны родилась вторая дочка, Ольга. Леличка росла слабенькой: недоедала, кричала все время, так орала, что Анна однажды захотела заткнуть ей рот полотенцем — навсегда. И ужаснулась.

Леличка орала как резаная, и ночью громко застучали в дверь.

Анна открыла без боязни. В ледяные комнаты, провонявшие табачным дымом — Анна крутила себе из старых газет «козьи ножки» и запоем курила махорку — ввалились революционные солдаты. У них были страшные, веселые и грубые лица, багрово-румяные с мороза. Винтовки за плечами. Будто — косы у косарей в лугах. Косят смерть косцы, сгребают трупы в стога. «Анна Царева?! — оглушительно крикнул один. — Собирайсь! В кутузку! Муженек-то твой знамо где!» Она молча надела старую лисью шубку, повитертую каракулеву шапочку и валенки, рукавицы не забыла, и сухо сказала Але: «Александра, за Ольгой следи. Если я не вернусь — стань ей матерью». Аля кивнула. Из огромных глаз девочки рекой плыли слезы. У дочери глаза, как ледоход. Лед, медленно тая, идет по реке, кровь плывет, отражается синее Божье небо.

Тогда в тюрьме недолго Анну мучили: день всего, — и вместе с сокамерниками повели на расстрел. Они все прекрасно понимали — убивать ведут.

Рядом с Анной шли седенькая старушка в букольках, в пенсне на горбатом носике; высокий, как жердь, мужчина с лицом твердым и жестким, будто из железа вылитым; две девушки, очень молоденькие, им не сравнялось еще и пятнадцати; и три разбитных мужика в поддевках, в купеческих жилетках; на запястьях и скулах мужичков — клеймами времени, привычного к боли и ужасу — ало-синие

следы побоев. «Ну, старушка из благородных, высокий тоже, а этих-то за что?» — смутно думала Анна, еле переставляя ноги после бессонной тюремной ночи.

Шла и свои стихи повторяла: «О бессонная ночь, о пресветлая ночь! Все метания — прочь, все сомнения — прочь! Только твой золотой, проникающий свет. Только этот простой — на всю ярость — ответ...»

«Молись, дитя! — воскликнула старушка в пенсне. — Молись, ибо не ведают, что творят!»

Это была зима Восемнадцатого года: Царя и Семью тогда еще не казнили.

Анна знала, что царская семья где-то в Сибири. А может, на Урале? Слухи долетали и таяли в воздухе, как снег. Белого снега письма, инистая, льдистая древняя вязь. На нее наставили дула винтовок, палачей было четверо, а может, пятеро, она не запомнила. Стали стрелять. Старушка упала. Мужчина с железным лицом стоял, вцепившись в окровавленную руку. В него стреляли, а он все стоял и не падал! Пули свистели мимо Анны. Она молчала. Мысль работала ясно и холодно: сейчас я умру. Вот сейчас!

Раздался крик: «Прекрати-и-и-ить!». Солдаты опустили винтовки, матерились. Вразвалку подошел человек в черной кожаной куртке. Прищурясь, глядел на Анну. И Анна поглядела ему в узкие татарские глаза. У ее ног лежали две убитые девочки. «На цыплят похожи». Мимо лица пролетела черная птица последней слепоты. Солдаты подбежали и стали выдирать из мертвых ушей жемчужные, крохотные сережки, срывать с шей нательные крестики на золотых цепочках. Анну затошнило. Она видела, как пальцы в крови судорожно толкают в карманы золото и жемчуг. «Идемте! — сказал, как отрубил, кожаный человек. — Вас взяли по ошибке». Без единой мысли в голове Анна пошла за ним. Ноги ступали деревянно, не гнулись.

Он привел ее в комнату в здании тюрьмы. Грубо раздел и изнасиловал. Анна, пока он пыхтел и сопел над нею, даже лицо не отворачивала, глядела в потолок. Ей казалось — это вагон, купэ, и она едет. Уезжает. Далеко. Навсегда.

Потом она торопливо оделась, собирая на груди в кулак разорванное кружево исподней рубахи. «Проваливай, — сказал ей кожаный, — пока я добрый».

В дверь купэ осторожно постучали. Проверка билетов. Бочком втиснулся контролер.

— Madame, monsieur, s'il vous plaît...

— Анна, не вставай. Я покажу, — жестким бессонным голосом тут же откликнулся Семен.

Муж протянул билеты. Контролер так сладок, так любезен. Дети пошевелились. Ника муркнул, как котенок. Анна так и глядела в потолок. В качающийся потолок купэ.

Дверь хлопнула. Франция. Они едут по Франции.

Анна уже была во Франции. Давно. Вместе с сестрой Тусей. В другой жизни. Ее больше нет. Где Туся? И Туси, может быть, уже нет. А Анна еще есть. И теперь Франция станет ее пристанищем. Домом? Никогда. Это Семену нужен дом. А она — поэт; какой ей дом, когда для нее дом — весь мир? И нигде дома нет. Не будет. Не построит.

А они думают — мать, жена...

«Через решетки дико тянем руки. Камни лупят по скуле стены. Мы уже не люди — только звуки. Еле слышны... вовсе не слышны...»

Так проехали всю ночь. Последняя ночь, им проводники сказали. Утром — Париж.

Так и пролежала всю ночь — с открытыми глазами.

И снег расстояний их заметал. И гудели, плакали встречные поезда; и их поезд отвечал стоном, свистом.

А утром поезд встал, грохнув, содргнувшись всем тяжелым железным телом. Замер, огромный, уставший бежать зверь.

Анна погладила на запястье браслет — серебряную змею.

Дверь купэ отъехала. В проем всунулось поросычье-розовое умытое лицо. Бодрый, свежий голос по-русски выкрикнул:

— Восточный вокзал! Все, Париж, прибыли, господа! Подъем!

Аля вскочила, не расчесывая, стала укладывать волосы, они призрачной паутиной путались между пальцев. Ника лениво спустил ноги с полки. После сна у него опухло лицо, он стал похож на бегемотика. Русые кудри, алые губки бантиком. Не мальчик — рождественская открытка.

Семен легко, как с коня, спрыгнул с верхней полки. Его лицо — вровень с глазами Анны.

— Аня! Вставайте. Приехали!

Вот теперь у нее были закрыты глаза. Притворялась спящей.

— Анюта, — шепнул Семен и ласково потряс ее за голое плечо, высунувшееся из-под жесткого верблюжьего одеяла, — Париж...

Распахнула глаза. Обернула голову. Семен ужаснулся холоду, что тек из зеленых — две крымские забытые виноградины, — любимых глаз.

— Париж. Ну что ж. Надо вставать.

Она выбросила из-под одеяла ноги. Семен принял ее на руки, будто она прыгала наземь с балкона. С солнечной приморской веранды, увитой плющом и диким виноградом, а не с жесткой полки душного купэ. «Какая легкая, худенькая. Так легко ее держать. Так тяжело...»

Увязывали баулы. Уталкивали разбросанные по купэ вещи в сумки. Ника весело плясал на чемодане. Анна нацепила черный берет, скособочила его, нахлобучила на ухо. Мельком погляделась в круглое зеркальце — вытащила из сумки. Опять зеркальце в сумку швырнула.

Красавица! Париж оценит. Мысли текли быстрые, язвительные, жестокие.

Как жить будем? Где? Что делать будем?

Вытащили чемоданы и сумки на перрон. Из трубы паровоза валил густой черный дым, и Анна глубоко дышала чужой гарью. Еще пахло свежее выпеченной сдобой; еще — странно, здесь, на вокзале — молотым кофе. Она сглотнула. Есть захотелось.

Брось, Анна, не хнычь, терпи! Как мать твоя покойница говорила: «Не балуй себя едой и питьем! Чем слаще ешь — тем горше плакать будешь на Страшном Суде!».

— Вот мы и в Париже, Семушка.

Повернулась к нему всем корпусом, как в танце. Он испугался: вдруг за руку возьмет и сейчас тут, на перроне, затанцует?! Засмеялась, прочитав его мысли. Он криво улыбнулся в ответ.

Куда сейчас? А бог весть куда. У Семена адрес, он поведет их, поводырь!

На привокзальной площади взяли такси. Седой благообразный таксист помог им погрузить в авто багаж. Услышав, как супруги по-русски переговариваются, по-русски вымолвил:

— Я тоже русский. Вы откуда? Из Петербурга? Речь питерская, по выговору!

— Из Москвы, — сказала Анна, не глядя на таксиста. — А вы из Питера?

Слеза уже бежала, дрянь такая, по щеке.

— Из Питера! Я ведь генерал, друзья мои! Я — друг Юденича. Погибла Россия!

Не глядела на него — боялась разрыдаться в голос. Старик тоже плакал.

Как он хорошо сказал — не «господа», а «друзья».

— Вам куда, милые? Без денег довезу!

Семен сунул таксисту-генералу записку.

— А, улица Руве, девятнадцатый район! Не из роскошных местечко... Рабочие живут. Железная дорога рядом, фабрики... Бойни неподалеку... запахи, крики... ни парка, ни бульвара, где детишек-то будете выгуливать, бедные вы мои?

Правильно, бедные, жестко думала Анна, по поклаже видать.

— Мы временно там. Остановимся у знакомых, потом квартиру найдем.

— Господи, сначала работу найдите!

Автомобиль шуршал шинами по асфальту. Анна тупо, слепо молчала. Молчал и Семен. Дети щебетали как птички, прилипли личиками к стеклам, восторженно разглядывали Париж, как давнюю, невозможную новогоднюю елку в свечах и игрушках.

Когда семья вышла из такси и Семен расплатился с водителем, насильно засунув ему в руку купюру, бывший генерал широким крестом перекрестил их и прошептал:

— Помогите вам Господи, помогите.

*

Ярко, больно блестит на солнце сине-зеленое, веселое море.

На вкус терпко-соленое. Цветом — то как прозрачно-зеленые грозди винограда Марсанн и Русанн, то как густо-синяя, сизо-лиловая, тяжелая, будто кованая гроздь Мурведд.

Русанн, Марсанн — женские имена звучат переборами лютни, аккордами арфы. Юг! Благословенный!

И берег-то назван в честь моря — Лазурным.

Издавна здесь именитые люди селились. Замки графы, герцоги на приморских склонах возводили. Солнце ласкает землю, целует! Боже, сколько виноградников здесь — стекают с кудрявых гор к морю, бегут, кудрявые зеленые овечки, к его плоскому синему, жестяному подносу! А на подносе — белые корабли, как белые фужеры, утлые лодчонки — крохотные рюмки; и замок Иф близ Марселя, где узники томятся, — темный, старинный коньячный бокал! Пей не хочу! Опьяней от красоты мира!

Ницца — город-сказка. Белые домики-скворечники торчат в густой зелени. На рынке крестьянки свежую макрель,

морскую жирную форель за грош продают. А уж винограда — завались, и свежего, и изюма! А в праздник вина, в день святого Венсана, каких только вин виноделы на прилавки не выставляют! И гудит Ницца два, а то и три дня. И все пьют, а пьяными не бывают! Лишь усы лихо закручивают мужчины, и, пробуя вино на вкус, долго смакуют, цокают языком. И бешено кружат в танце хорошеньких крестьяночек из Санари, из Сен-Тропе, из Экса, из бухты Каро! Только вспыхивают под летящими лопастями юбок белыми, серебряными рыбами девичьи ножки. Только стучат каблуки. Правду говорят: вино — напиток богов. Хоть на миг, а люди богами становятся, вина испив.

Много русских поселилось в Ницце. Да и в Марселе тоже много. На кораблях сюда, на Лазурный берег, приплывали, обогнув землю окружным путем — иные плыли из Владивостока в Шанхай, из Шанхая в Бомбей, из Бомбея в Каир, из Каира в Марсель. Иные по старой, дворянской памяти в Ниццу жить приезжали: невыносим был гудящий, как улей, Париж, дымные улицы, многолюдье, поденная грязная работа. Юг нежной песней, виноградным сладким соком из хрустального бокала казался. А приезжали — и начиналось то же: заработок денег, борьба за каждый встающий день.

Юноша Рауль Пера случайно познакомился с семьей адмирала Милкина: увидел — стоит на рынке в жаркий солнечный день дородный старик, профиль сухой и острый, не нос — клюв орлиный, маленькие птичьи глазки пронзают людей насквозь, сразу все знают о них, — обводит взглядом лари и кульки, мешки и россыпи снеди и иных товаров. Старик пошел по торговым рядам; Рауль безотчетно пошел за ним. Стражем стал, соглядатаем.

Старик пересек полосу солнечной мостовой, отделявшей продовольствие от старинных вещей. Рауль огляделся. Сердце билось. У сердца выросли жалкие, воробьиные крылья.

Славился на все побережье антикварный рынок в Ницце! В первое воскресенье июля съезжались сюда жадные покупатели незапамятной французской старины; и не только французской — старик шел и глядел на алжирские статуэтки эбенового дерева — гнусных африканских божков, на связки индийских гранатов, то темно-алых, кровавых, то нежно-лиловых, то прозрачно-ледяных, то ярко-зеленых, ярче виноградной листвы; на мексиканские маски Кетцалькоатля, на испанские перламутровые веера, на японских бронзовых

смеющихся будд, на аргентинские погремушки, сделанные из полых высушенных тыкв.

И жадней всего глядел благородный старик на медные русские подсвечники. О, даже белые свечи были воткнуты в старую, черно-зеленую медь. Замер старик. Застыл. То ли любовался, то ли плакал.

Рауль, не помня себя, шагнул вперед. Рука сама вытащила из кармана кошелек.

Вчера Рауль сдал экзамены в коллеже, и дед Рауля, итальянец из Пьемонта, по такому торжественному случаю подарил внуку бумажник, а в нем, ура, франки лежали. Рауль от радости и стыда даже не сосчитал, сколько.

— Эй, хозяин! Подсвечники почему отдашь?

Прокопченный на солнце торговец сощурился, оценивая мальчишку. Свистнул сквозь зубы.

— Пятьдесят франков! И — забирай!

Рауль раскрыл бумажник. Дрожащими пальцами пересчитал дедов подарок. Десяти франков не хватало — тут было сорок.

Он еще никогда в жизни не торговался. Побледнел от волнения.

— У меня не хватает, хозяин!

Губы дрожали от обиды. Глаза следили: старик вздрогнул. Птичьи зрачки перевел на юнца.

Антиквар протянул загорелую, крепкую руку. Рауль вынул купюры. Бумага, деньги ведь это только бумага, и не более того! Скорей, гляди, как он смотрит! Сейчас повернется, уйдет...

Рауль расплатился, схватил с лотка два подсвечника и протянул старику — и не успел: и вправду увидел его спину. Высокую, чуть сутулую спину. Спина качалась, уходила. Шевелились под мокрой рубахой лопатки. Кинулся Рауль; старика за локоть схватил.

— Позвольте, я вам... Это подарок!

Подсвечники, задыхаясь, протянул. Старик глядел недоуменно, холодно. Прокалывал Рауля зрачками.

— Что, зачем?

— Я купил это для вас! — в отчаянии крикнул Рауль.

И старик улыбнулся. И взял из рук у Рауля русские подсвечники.

*

Потом они пришли домой к старику. Его звали Алексей Дмитриевич Милкин, и он в России, при последнем Царе, был

адмиралом Царского флота. Рауль познакомился со всем семейством адмирала — с женой, глядящей покорными оленьими глазами, с двумя дочерьми — Лилей и Ликой, с тещей-старухой — ее чудом спасли, вывезли из советского Ленинграда уже после смерти великого вождя большевиков Ленина, — с ее старой сестрой, похожей на кривую ржавую кочергу, голос скрипучий, зубов во рту нет, а душа добрая, и взгляд — ангельский.

Старая кочерга все время молилась, стоя на коленях перед киотом. Рауль впервые в жизни видел православный киот. Глядел, разинув рот, на золотые лики святых на черном, дегтярном фоне, на кроваво-алый плащ Богородицы, на пустые, тихие ладони Христа. Ладони Бога напоминали стертый манускрипт, палимпсест. Знаки, линии, морщины, записи времени: зачем они вечности? Зачем вечный, небесный Бог стал человеком?

Христос был похож на него самого, так был юн и беззащитен, и пушок над губою и на подбородке, что Рауль пугался.

Адмирал Милкин сажал Рауля с собой за стол, они обедали вместе. За креслом адмирала по старинке стоял лакей, русский мужик, адмирал смешно звал его — Гринька. Рауль вслушивался в диковинные русские слова. За обедом изъяснялись по-французски, и он все понимал, и принимал участие в беседе; а когда вставали из-за стола — тут же все по-русски говорили.

— Хочешь, буду учить тебя русскому языку? — спросила печальная жена генерала Ираида Васильевна.

Рауль согласился с восторгом.

*

Адмирал Милкин познакомил Рауля со всеми русскими, что поселились здесь, на Юге. Рауль побывал у всех в гостях — и у княгини Васильчиковой, у которой мужа-князя расстреляли вместе с царской родней, а она вот счастливо уцелела, и у князей Нарышкиных, Сергея и Ксении, что спасались преподаванием музыки и открыли музыкальную школу, и Ксения учила французов нотной грамоте и игре не на фортепьяно — на старом разбитом клавесине. Алексей Дмитриевич купил клавесин задешево на том же антикварном рынке, где пропадал по воскресеньям, и Нарышкиным подарил. Они очень благодарили.

Рауль делал успехи в русском языке. Он скоро узнал, что такое «спозаранку» и «охота», «самовар» и «сенокос»,

«икона» и «молитва», «честь» и «расстрел». А еще он узнал, как будет по-русски «виноград»: «вьи-но-ггад», вот как! Он сначала грассировал и картавил, все никак не мог выговорить русское раскатистое, как гром, «эр». Рцы, важно поднимал палец адмирал, это буква рцы. Аз, буки, веде, глаголь, добро...

Рауль понимал, что такое добро. Оно щедро лилось из самодельного душа в саду адмиральского дома — Алексей Дмитриевич сделал душ из садовой лейки и очень гордился этим.

В истомно-жарком приморском августе они поехали в гости к знаменитому русскому писателю, что жил неподалеку от Ниццы, в Санари. Лика и Лиля надели белые широкополые шляпы; адмирал — свой старый, чудом сохраненный в бурях войн и революций белый с золотом китель. Наняли пролетку. Адмиральша ехать отказалась — у нее сильно болела голова.

Пролетка тряслась по дороге, девочки смеялись, показывали пальцами на бушующее море — день был огненный и ветренный, прибой рассыпался над прибрежными скалами белой бешеной пеной. «Пальцем нельзя показывать!» — гневался адмирал. Пролетка остановилась около белого особняка, в тени платана. Возница раскурил трубку. Распахнулась дверь дома, и молодая женщина, кудрявая и смуглая, с глазами-вишнями, пошла навстречу приехавшим легким шагом, будто танцую. В руках она несла бутылку с вином и глиняную кружку.

Она подошла ближе, и Рауль увидел — нет, совсем не молодая, морщины птичьими лапками в углах глаз. И снежные нити седины в веселых кудряшках.

— Здравствуйте, дорогой Алексей Дмитрич! — пропела женщина по-русски. — Освежитесь с дороги!

— Кучеру сперва налея, Вета, — ворчливо кинул Милкин.

Сидели не в доме — на открытой веранде. Хозяйка, та, что вынесла им вина, разливала чай из пузатого медного, с клеймами, баташовского самовара. Писатель неприязненно глядел, как супруга раскладывает возле блюдец золоченые ложечки с витыми ручками. «Плохо живут, — смутно, смущенно подумал о них Рауль, — какие-то злые друг к другу они». Старая вислоухая собака медленно подошла, ткнулась мокрым носом в колено. На веранду не вошла — вбежала юная девушка, волосы рассыпаны по плечам, улыбается, и зубы блестят! Красивая дочка какая у писателя!

— Бонжур!

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru